Sobach'ia dolia

PG
3505
L5S6

Собачья доля



Sobařîa dolîa

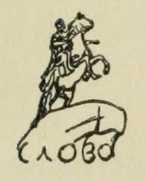
СОБАЧЬЯ ДОЛЯ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ

СБОРНИК РАЗСКАЗОВ

А. РЕМИЗОВА, Е. ЗАМЯТИНА
СОКОЛОВА-МИКИТОВА
В. ИРЕЦКАГО, В. ШИШКОВА

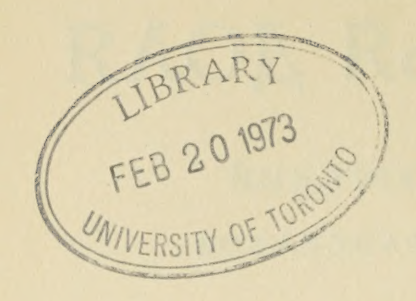




1 9 2 2

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «СЛОВО»

PRINTED IN TURKEY



PG
3505
L5-S6

Copyright by Slowo-Verlag

Все права, в том числе и право перевода,
принадлежат издательству «СЛОВО»

СОБАЧЬЯ ДОЛЯ

Раньше все не так было, не такое.

И земля была не такая:

ржаной колос с земли начинался от самого корня и был метлистый, как у овса; ни косить, ни жать нельзя было — чтобы не растерять зерна, подрезали колосья каменным шилом; и хлеба было всем вволю.

И случилось однажды, вышел Бог странником на поле, вышел посмотреть, как живут на земле его люди.

А как людям жить?

Известно, и хлеба по горло — сыты, так другим чем возьмутся друг дружку корить — осатанели.

Идет странник по полю, радуется: зерна так много, колос полный — от земли до верхушки.

И весь день ходил до вечера, а вечером на ночлег собрался: туда постучит, сюда попросится, — никто не пускает, гонят.

«Еще стащит чего!»

Вот у каждого что на уме: страшно за добро, хоть и девать-то его некуда, добра-то всякого —

Вошел странник к богатым в богатый дом.

Уж не просится на ночлег, просит хлеба кусок — милостыню.

А пекла хозяйка блины, увидала странника, разругалась на чем свет, турнула за дверь, да в горячах схватила блин, вытерла блином грязную лавку — кошкин след, да блином вдогон —

Поднял странник блин, положил в котомку и пошел в поле — в ночь.

«Нет, сытого ничем не проймешь. Осатанел человек — —»

И разгневанный, став среди поля, позвал тучу. И поднялась на его зов страшная туча.

Гроза загремела —
палило огнем,
било градом,
смывало дождем.

Не кричат,
не вопят,
остолбенели:
все хозяйство пропало, весь хлеб погиб, все колосья ощипаны.

И лишь один остался колос — на длинной соломе.

Черно, пусто, голо,
голи голей на вольготной богатой земле.

Тут-то вот Белка и вышла из конурки, видит собака, дело плохо: с голода подохнешь! — да в поле, да как завоет.

— Ты чего, Белка, воешь?

— Ееесть хочу!

И тронули Бога собачьи слезы, снял он грозную тучу.

Засветило солнце, пригрело.

И на пустой голой земле одиноко торчал колос — собачий, что Белке за слезы ее пришлось от Бога, собачий колос на длинной соломе.

С той поры и едят люди долю собачью.

Наша доля — собачья.

Алексей Ремизов

1910 г.



ГЛАЗА

— Ты собака.

Шелудивый тулуп — был, быть может, белый. На хвосте, в обвислых патлах, навеки засели репьи. Одно ухо — лопух — вывернуто на изнанку, и нет сноровки даже наладить ухо.

У тебя нету слов: ты можешь только визжать, когда бьют; до хрипу брехать, когда велит хозяин; и выть по ночам на зеленый, горький месяц.

Но глаза... зачем у тебя такие прекрасные глаза? Поднимаешь глаза вверх, глядишь глазами в самое мое нутряное нутро, мы говорим глазами в глаза, и я знаю: ты — древняя, мудрая, мудрее нас. Я знаю: ты была человеком, и ты им будешь вновь. Но когда же ты будешь?

Седой хозяин держал тебя на цепи, в грязной конуре. Ты лакала помои из грязной черепушки. Ты грызла хозяйские оглодки. И ты ретиво стерегла хозяйское добро.

Помнишь: жаркий день, тарантас посеред двора, навалили ковры, самовары — и уехали. Ты ждала. Разгуливала по двору красноглазая клюшка, поглядывала одним глазом на коршуна вверх, собирала индюшат под крылья. Накрыла конуру тень от водовозки: тарантас все не возвращался. И, помнишь: на утро ты вцепилась в красноухого индюшенка, схряпала мигом, — и только одни белые, обрызганные красным, перья у конуры.

И как потом плеткой-двухвосткой хлестал по глазам хозяин. Совсем близко была его налитая, в седых кустах, морда, но ты не вцепилась: ведь это был хозяин. И только из глаз точились тихие собачьи слезы, пролагали желтые желобки от углов глаз к носу.

А на утро — помнишь? — прижавши морду к земле и засунув хвост между ног, ты по грязи ползла хозяину навстречу, виляя задом, ты лизала хозяину руку. И когда милостиво потрепали по затылку — ты радостно повалилась на спину — прощена! — ты щурилась и дрыгала ногами, ты звенела цепью и наружу выливала весь свой срам: ты забыла, что ты — человек.

От одной с собачьим месивом черепушки до другой — ты мерила время. От жарыни желтел на дворе просвирник. Солнце — огненный пес — распялив красную пасть — пыхало пылом прямо в тебя. Не в силах скинуть шелудивую шубу — ты задыхалась, у своей конуры лежала, как мертвая, и только жил, ходил ходуном высунутый наружу язык.

Но пришел во двор — ты помнишь? — щуплый, прыщавый человечий щенок. Ты забыла все, ты вздыбилась на дыбы — душил ожерелок — хрипела и бешено, с пеной лаяла: прыщавый был чужой, был хозяину недруг, хоть вместе с хозяином заглядывал он в курник, в выход, в каретный сарай.

Больше ты не видала седого хозяина: он непонятно исчез, как вечерами непонятно для тебя исчезало солнце за каретным сараем. Утром — помнишь? — тебе принес черепушку уже тот, прыщавый; в черепушке был кус тухлого мяса. С урчаньем ты поглотила мясо и, волоча брюхо в пыли, по червиному

поползла ему навстречу и лизала ему руки, — тому самому, на кого вчера бешено брызгала пеной: ведь, это он, прыщавый, он, великий, повелевал тебе черепушкой. И не все ли равно, кто тобой владеет? Была бы поганая черепушка полна.

Твой новый хозяин был затейщик. Вчера, — ты помнишь? Пахло из закуты парным молоком, шуршали, примащивались на нашесте куры, а тебя дразнили огрызком сахара и кричали: служи! Как к небу — к слюнявому огрызку сахара — ты поднимала глаза, свои человечьи глаза, и звеня цепью, неуклюже плясала на задних лапах — из-за слюнявого огрызка сахара. Ты помнишь вечера? На варке богомольно вздыхала корова, хрустела сладкой свекольной ботвой. А тебя для потехи спускали с цепи, для потехи травили тебя на кошку: ату ее! И, однажды, ты помнишь, ты никогда не забудешь: кошка увязла в щели под забором, раз! — и ты, урча, уже мотала головой, рвала и вгрызалась в кошкино брюхо, а прыщавый гоготал, и кагакали в курнике взбуженные гуси, индюшки и куры. А потом усталая, у входа в конуру, ты звенела цепью и сосала слюнявый огрызок сахара. Но глаза были зажмурены, чтобы не видно было, что они человечьи, и всю ночь ты вздыхала: о чем вздыхала?

От черепушки до черепушки ты мерила время. Твой собачий мир — конуру, водовозку, каретный сарай — накрыло серым, сырым веретьем, осенним небом: ты мокла покорно. Вылезало солнце, — в трех багровых студеных кругах — багровое, как кровь загрызенной кошки: ты треской тряслась от стыди. Ты покорно таскала сосульки на шубе: кололи — лечь было нельзя — ты покорно таскала, пока сами собой не растопились сосульки, пока

юркие, как ящерки, не зажурчали ручьи, не поволокли навозные комья вон со двора. Своими глазами — человечьими — ты глядела целый день на солнце, за солнцем ходила кругом конуры, — ходила весь день, звенела ржавой цепью. И закрутилась, запуталась вокруг шеи, ты рванула — и лопнула цепь.

Секунду стояла, остолбенела — и эх! — взвилась. Через забор по талым сугробам, с мокрым брюхом — пар валом валит — ты носилась, пьяная от солнца, от воли, от чуть приметного парного курева земли из-под снегу. И где-то под голым, черным еще, переплетом сирени на синем небе, где-то ночью в проулке, на кучах теплой золы, среди пьяных весной и волей.

Черепушки не было, нечем было измерить время: может — день, может — месяц. Но это не был день: уж слишком жестоко голод закрючивал в брюхе кишки.

И, ты помнишь: ветер, с духом горьких сиреневых почек, на заборе — взгальный галочий гам. Облезлым боком ты вжималась в самый мокрый забор и, засунув хвост между ног, плелась, плелась. Оборванная цепь лязгала по земе.

На дворе — огарнули тебя с гоготаньем: ага-а! Ты легла у старой конуры и подставила шею. Прыщавый напялил на тебя новый сверкающий ожерелок, — с веселым, звонким бубенчиком, и новую цепь. К морде пододвинули черепушку — в ней громадный кус тухлого мяса. И помнишь? — ты лопала, ты жрала, ты трескала — пока не раздулась.

Прыщавый милостиво потрепал тебя по загривку, — ты повалилась на спину и задрыгала всеми че-

тырьмя ногами, позванивая цепью и веселым бубенчиком на ожерелке. Ты лизала руки хозяину. Ты налопалась до отвалу — и что тебе цепь? Ведь ты — дворняга.

У тебя нету слов. Ты только можешь визжать, когда бьют; с хрипом грызть, кого прикажет хозяин; и выть по ночам на горький, зеленый месяц.

Но зачем у тебя такие прекрасные глаза? И в глазах, на дне — такая человечья грустная мудрость? Я знаю: ты была человеком, и ты им будешь. Но когда же ты будешь? Когда же я не посмею сказать тебе:

— Ты собака.

Евг. Замятин

СПБ. 1918 г.

ВОЙ

Когда то я был не человек. Моя душа была проста и первична, как земное дыхание. Вместо рук я имел обросшие темносерою шерстью крепкие и сухие лапы, вместо человеческого лица — звериное лицо и вместо человеческих глаз — глаза, светящиеся в темноте.

Я легко переплывал быстрые реки, перебегал широкие поля и рыскал по необ'ятному темному лесу, обнюхивая серый мох, и крепкими когтями взрывал под корнями черную землю. Зубы мои были крепки и остры, ноги сильны и сухи, зрение проникновенно, а обонянием я безошибочно угадывал, кто друг мой, а кто недруг. Я был хитер, ловок, силен и точно знал три звериные правды.

Я знал, что нет ничего унизительнее голода и, чтобы не погибнуть, умел в изобилии добывать пищу, — был верен своим и беспощаден к чужому. Я знал, что нет ничего безобразнее смерти, и потому, предучувствуя час, уходил умирать одинок и скрытно. Стыдясь безобразия смерти, я не стыдился открыто творить любовь и открыто бороться. Тогда я был истинно счастлив.

Но почему же тогда, по ночам, когда сквозь перистую листву затихших деревьев показывались звезды, наша стая завороженно смотрела на них и звериные сердца наши сжимались.

А мы не умели молчать и плакать: глядя на звезды, мы умели только выть.

Теперь я человек — седой зверь — я победил зверя и обогнал птицу. Мои ноги уже не быстры, мои глаза тупы и обоняние ничтожно. Уже давно я не знаю радости погони и захвата борьбы, я хоронюсь, когда люблю, и мне приятно возить моих мертвецов в колеснице по улице напоказ.

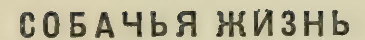
Я знаю многое и думаю, что всесилен.

Но почему же и теперь звезды, как и тогда, заставляют сжиматься мое сердце!

Теперь я не вою — глядя на звезды, молчу безумно.

А молчание мое — как вой.

И. Соколов-Микитов


СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

I

Сквозь чуткий дневной сон Лайка услышала ленивые шлепающие шаги своего хозяина и подняла морду. Приближающиеся запахи подсказали ей, что он направляется в кухню, и так как она не могла побороть в себе чувства ненависти к этому ничтожному опустившемуся и отвратительному человеку, ее зубы сами собой показали свой оскал и нервно залязгали: она презирала его, как кошку или подобную ей тварь такой же низшей расы.

Это презрение возникло у нее давно. В отдаленные времена, когда хозяин был бодрым, крепким и занятым человеком, она верила в его доброе могущество и полагала, что он — божество. Из-за молитвенной преданности к нему она готова была вцепиться зубами во всякого, кто осмелился бы отнестись к нему без должного почтения или даже равнодушно. Оттого она враждебно встречала хмурых почтальонов, таивших в своей молчаливости скрытую злобу; не любила полотеров, оставлявших после себя грубые, непочтительные запахи, и ласково виляла хвостом при появлении покорных курьеров, которые застенчиво-робко осведомлялись, дома ли «его превосходительство».

Само собой, хозяин не был единственной привязанностью Лайки. Глубокую нежность питала она и к кухарке Поле, неизменно излучавшей из себя чудесные запахи поджаренного мяса даже и

тогда, когда по праздникам наряжалась в лучшие платья и отправлялась со двора. Но Лайка понимала сложные законы жизни и отлично знала, что есть логическая цепь следствий, подчиненных неумолимым причинам, и в ее уме это складывалось так:

«Кухарка Поля, которой подвластно все рубленное мясо, все остатки от супов, соусов, а также жирные тарелки, в свою очередь подвластна хозяйке и набожно подчиняется ей. Значит, хозяйка неизмеримо выше ее. К тому же она величественнее Поли, потому что никогда не прикасается к тем кускам мяса, которые остаются после обеда, между тем, как Поля жадно поглощает их своим квадратным ртом. Но та же хозяйка безропотно умолкает и с'еживается, как пришибленная, когда в доме появляется хозяин, в чьих зрачках горит строгое понимание всего сущего. Значит, он самый главный в доме, для которого готовится все вкусное и в большом количестве, и потому он бог».

И когда Лайка проходила мимо его выставленных за дверь ботинок, она преисполнялась молитвенного благоговения и почтительно внюхивалась в их острый запах. Он казался ей самым благоуханным, если, понятно, не считать тех запахов, которые целые дни стоят в святилище человека — в кухне.

Обычно перед вечером, когда среди сухой тишины комнат раздавался его резкий звонок, на кухне поднималась веселая пахучая суета, от которой у Лайки сам собою прыгал хвост. Гремели кастрюли, сковороды, ложки и ножи, сильнее гудело жертвенное пламя в плите, и благовонные текли ароматы. Ноздри Лайки торопливо и жадно втягивали в себя прекрасные шипящие запахи, и они тот-

час же превращались в соблазнительные предвкушения. Ее изощренная опытом память мгновенно рисовала перед ней тарелки с жирными остатками соусов, с кусочками мяса и с чудесными почти необглоданными костями, которые, как известно, заполняют жизнь приятным вкусовым содержанием. Увы! Теперь все это было в прошлом.

Да, революция произошла не даром. Она пошатнула крепкую Лайкину веру в незыблемость богов и заставила ее заново перестраивать весь собачий Олимп. Лайка раньше всего убедилась, что главный бог дома, чьи глаза таили строгое понимание сущего — вовсе не бог, грозный и сильный, а трусливое ничтожество, которое опасается каждого шума на улице, дрожит и бледнеет при звуке ночного звонка, трепетно пробегает глазами свежий газетный лист и так же, как она, покорно-смертная Лайка, способен униженно с'ежиться, когда возникает неопределенная опасность. И если при виде милиционера он не виляет хвостом, то только потому, что люди существа безхвостые.

Другими словами, хозяин слишком стал походить на собаку, чтобы оставаться богом. И Лайка низвергла его.

Она перестала итти на его зов, не подчинялась его окрикам и в своей непочтительности дошла до того, что нередко лаяла на него, словно он был почтальоном или грязным трубочистом. А вскоре, может быть даже и одновременно, пришла и ненависть.

Это случилось, когда с некоторого времени тарелки стали возращаться на кухню совершенно пустыми и подло облизанными, точно они перебывали у целой стаи собак. Шипенье на плите

внезапно прекратилось, и вкусные ароматы, от которых так сладко кружится голова, исчезли. На смену сытным кусочкам котлет и жарких пришла жалкая каша, которая не может вызвать ни капельки слюны. Остались только пресные, неподвижные и нераспространяющиеся запахи, никого не способные по настоящему взволновать.

Это было так неожиданно подло и так несправедливо, что возмутило даже кроткую Полю, и она ушла. Разумеется, ушла бы и Лайка. Но куда итти? Да и шутка ли сказать: уйти. Всякая порядочная собака, имевшая одного хозяина, а не двадцать, хорошо знает, что такое привычка к месту, порабощающая волю, инициативу и подвижность.

Правда, от случайных разговоров со встречными собаками, у Лайки сложилось твердое убеждение, что хозяева составили против собак молчаливый заговор и перестали их кормить. Но Лайке от этого не было легче, и все свое возмущение она, естественно, обратила против собственного хозяина, как непосредственного виновника неожиданных невзгод. И она стала его ненавидеть.

Однако, тоска по волнующим запахам давала себя чувствовать безмерно, и Лайка, наперекор своей врожденной брезгливости, вынуждена была тайком забираться в мусорные ящики и ведра, чтобы отыскать там старую кость или головку от рыбы, которой пренебрегали даже мыши. Часами приходилось рыться среди пыльных бумажек, тряпок и черепков, натыкаться на царапающие кожу жестянки и ощущать зловоние. Превозмогая досаду и стыд перед презренными кошками, Лайка погружалась в грязную гадость, жертвуя своей опрятностью и самолюбием.

II

Ничего не было удивительного, что однажды в поисках с'едобного, встретив на мусорной куче соседского фокс-терьера, Лайка тотчас же подружилась с ним. Он был такой же несчастный и потерявший веру в богов, как и она. Его грязная всклокоченная шерсть запечатела на себе все пережитые невзгоды и лишения, а двумя невольными вздохами он уж и просто рассказал ей и про неизменный голод и про ничтожество своей хозяйки, которая делала вид, будто по-прежнему его безумно любит, но кормить не кормила.

Лайка поняла его безысходную печаль после первого же обнюхивания и, ласково заглянув в его сумрачные тоскливые глаза, помимо своей воли всколыхнула и в нем уснувшее фокстерьерово озорство. Завиляв куцым хвостиком и став на задние лапки, он протянул к ней передние, точно взывая к ее чувственной благосклонности. Лайка кокетливо попробовала уклониться от подстерегающих ее об'ятий, но ясно почувствовав, что фокс-терьер будет безутешен, великодушно уступила ему.

Это случилось ранней весной, когда бедных собак неотвратимо донимают какие-то таинственные соблазны, реющие в самом воздухе, и очень возможно, что не только жалость заставила Лайку поддаться трогательным увещеваниям фокс-терьера, но и простое благоразумие, ибо кто же не знает, что вернейший способ отделаться от соблазнов — это немедленно уступить им.

Дальнейшие встречи с возлюбленным происходили на той же мусорной куче. Пылкий фокс-терьер всегда был первым на условленном месте. Кокетливая Лайка предпочитала церемонную сдержанность и являлась на свидание со значительным опозданием.

— Что слышно? — спрашивала Лайка.

— Плохо, — вздыхал фокс-терьер, — моя старая карга сварила сегодня суп из сушеных вишен. Я был голоден, как человек, но не мог сделать и трех глотков.

— Возмутительно! — роняла Лайка, — возмутительно. Хау! Хау!

— И эта лицемерная тварь, — продолжал фокс-терьер, — еще позволяет себе утверждать, что она не может без меня жить.

— Что же это с нами будет? — тревожно спрашивала Лайка, — у меня то же самое. Сегодня на завтрак мне дали жидкую пшенную кашу, от которой пахло штукатуркой.

Фокс-терьер нервно пожимал плечами.

— Мы не выживем, — задумчиво говорил он, — посмотри, как выступают мои ребра. Ах, да! Я должен извиниться перед тобой за небрежность в туалете. Ты видишь? — Я без ошейника.

— Потерял! — ужасалась Лайка.

— Хуже. Моя карга продала его на рынке. Да, я окончательно стал уличной собакой.

Лайка огорченно вздыхала, но чтобы скрыть свою досаду, делала вид, будто беззаботно выискивает у себя блох.

— Впрочем, что я говорю, — продолжал скорбеть фокс-терьер, — где там теперь уличные собаки! Они все передохли. И нам тоже скоро придет конец.

— И всему виной наши хозяева, — негодующе замечала Лайка, — я уверена, что это заговор с их стороны. Я глубоко уверена.

— Кто их знает!

— О, как я их ненавижу! — с чисто женской исступленностью выкрикивала Лайка, — я их так ненавижу,что в один прекрасный день я с'ем моего хозяина. Возьму и с'ем.

Фокс-терьер иронически улыбался.

— В том-то штука, что в тот день, когда ты захочешь его с'есть, у тебя не будет физических сил это сделать. И выйдет так, что не голодные, а сытые с'едят голодных.

Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, оба принимались баловаться и оглашали двор звонким безмятежным лаем, который приводил в брезгливую ярость всех кошек дома. Это была единственная доступная им радость.

Но когда приходилось расставаться, ими снова овладевала гнетущая тоска, крепко ущемлявшая душу. На Лайку нападала покаянная грусть, и она едва слышно шептала:

— А все-таки я думаю, что мы сами виноваты в нашей беде. Старых богов мы низвергли, а новых себе не завели. Нельзя жить без богов.

Фокс-терьер нежно лизал ей спинку и с игривой печалью говорил:

— Не надо предаваться мистике, мой друг. Это убивает всякую волю к жизни. А ну-ка, кто скорее взберется по лестнице. Хау! Хау-хау!

III

В начале июля у Лайки появились дети. Это совершилось вопреки неуклонным намерениям природы стремительно сократить население Петербурга — собачьего, лошадиного и птичьего. По крайней мере, сами боги показывали для подражания пример и по возможности старались не размножаться.

Дети Лайки, теплые, мягкие и пахнувшие кислым супом, копошились в ящике, беленькие, как она. Только у одного из них пузо было покрыто черными точками, унаследованными от фокс-терьера.

Трепет материнский и острая тревога отдалили Лайку от всех досаждающих, но неразрешимых мыслей о божестве. Она думала теперь об одном: как бы насытиться настолько, чтобы было чем кормить малышей, и как уберечь их от злых сил.

Было мгновение, когда беспомощная в своей слабости Лайка почувствовала что-то похожее на прежнюю угодливую привязанность к хозяйке и по старой привычке лизнула ей руку. Уж очень ее тронула тарелка, до верху наполненная необычайно густой, хотя и советской кашей из ячневой крупы. Но очень скоро, пожалуй даже немедленно, Лайка опомнилась и слегка зарычала: ей померещился какой-то предательски-затаенный подвох, и он тисками сжал ее сердце. Не мог подавить Лайкиного недоверия и сам хозяин. Шлепающей вялой походкой пришел он взглянуть на беленьких малышей, но встретил два сердитых воспаленных глаза, излучавших жуткую тревогу. Хозяин хмуро улыбнулся и поспешно отошел.

Потекли дни, полные приятных развлекающих и уютных забот: то надо было отодвинуть заднюю лапку, так чтобы удобнее было обнажить увертливый сосок, то приходилось чистить малышей от пыли и пушинок, которые приставали к их влажной податливой шерсти. А то случалось сбегать вниз на двор, на мусорный ящик, чтобы там отыскать съедобность, нужную для прилива молока.

Мусорные запахи напоминали Лайке о многом: об отважной кухарке Поле, которая гордо отвергла жалкие с'едобные милости скупых богов и ушла, навсегда унеся с собой благоухание жареного мяса, напоминали ей и о самом мясе, кости от которого расточительно валялись среди битых черепков, бумажек и углей. Наконец, те же запахи восстанавливали в памяти первые встречи с фокс-терьером. А куда он девался, веселый, беспечный озорник с печальными глазами? Отчего больше не слышно его возбуждающего незлобивого и дурашливого лая? Чтобы вызвать его, Лайка поднимала мордочку и восклицала:

— Хау! Хау-хау!

Не приходил фокс-терьер. Лайка поспешно возвращалась домой к детям, но на всякий случай обнюхивала лестницу, чтобы найти хоть след их отца. Странное дело! Следы были, а фокс-терьер словно в воду канул. Уж не на цепочке ли водит его старая карга, ни на шаг от себя не отпуская? Нет, в одну из таких прогулок она неожиданно встретила его. Он деловито взбирался к себе, озабоченный, уставший, но сытый и довольный. От радостной встречи фокс-терьер завизжал и запрыгал, как преследуемая блоха. Лайка из гордости ничего не сообщила ему о детях, но зато фокс-терьер рас-

сказал все. О, как он тепер понимает всю глубину низости богов, будто бы покровительствующих своим собакам! Он молится теперь другим богам, но в то же время ничего не приносит им в жертву — ни преданности своей, ни своих сил. На Симеоновской улице у церковной ограды он облюбовал себе местечко и, стоя на задних лапках, выпрашивает милостыню. Он научился лицемерить и делать вид, что обожает всех проходящих. Люди падки до преданности и показное принимают за настоящее. Ему дают кусочки хлеба, селедочные головки, а одна старушка умудряется каждый день приносить ему необглоданные кости.

— Пойдем со мной, — предложил фокс-терьер, — нас будет трое. Рядом со мной попрошайничает подслеповатый пудель, и ему живется недурно. Пойдем!

Лайка молчала. Пожалуй, и она бы не прочь постоять на задних лапках, чтобы получить необглоданную кость, но кто же будет охранять ее малышей?

А тоска по сытости донимала ее безмерно. Всего только на-днях тщательно обнюхивая все укромные уголки в поисках с'едобности, она с плотоядной дрожью посматривала на воробьев, дерзко прыгавших на балконе. Они представились ей лакомством необыкновенно вкусным и достаточно сытным. Должно быть, то же самое думал хозяин, в сумрачных глазах которого искрилась хорошо знакомая Лайке голодная прыть. Притаившись на диване, хозяин выжидательно замер и перестал дышать, точно делал настоящую собачью стойку. Потом вздохнул, поднялся с дивана и притащив из кухни пять давно валявшихся там кирпичей, принялся устраивать какую-то западню. Лайка никак не могла

сообразить, как это в нее будут попадать воробьи, но ясно почувствовала, что именно для этого западня и строится. Приманкой для птиц были остатки пшенной каши. Лайка скорбно втянула в себя приятный запах еды, так расточительно выбрасываемой неразумным птицам, но утешилась будущей добычей и решила терпеливо ждать: неужели хозяин один с'ест всех воробьев?

В расстоянии четырех прыжков от балкона она опустилась на пол в молитвенном желании, чтобы воробьи попались как можно скорее. Хозяин же примостился сбоку и через дверное стекло жадно следил, как прыгали и суетились вороватые озорники.

Но воробьи были умны и осторожны. Они быстро выклевали всю кашу и вспорхнули, испугавшись своей собственной возни.

Лайка хмуро поднялась с пола и, бросив на хозяина обычный презрительный взгляд, опечаленная вернулась к детям. Нет, больше не было никакой надежды с'есть что-нибудь жирное, сытное и дать приятную работу своим скучающим зубам. И вдруг — изобретательный фокс неожиданно стал соблазнять ее необглоданной костью и увлекательно описывал нетрудный путь к достижению этого счастья. В трепетном предвкушении еды Лайка взвизгнула от пронизавшаго ее удовольствия и, лизнув воздух розоватым язычком, покорно последовала за своим искусителем в только что обнаруженный собачий рай на Симеоновской улице.

Да, все было так, как расписывал фокс-терьер. Прохожие красноармейцы, ожесточенные бабы из очередей и запыхавшиеся, но благодушные получатели пайка щедро бросали четвероногим попрошай-

кам кусочки хлеба. Пришла и старушка, приносившая фокс-терьеру косточки, и должно быть в память своей старой незабываемой привязанности, назвала обоих собак Тузиками.

Стоя на задних лапках, Лайка быстро и ловко схватывала на лету подачки и насытилась скоро. По крайней мере в сосках она почувствовала прилив молока, и он тотчас же напомнил ей о голодных детях.

Она радостно встрепенулась и стремглав побежала домой, стараясь ничего не замечать по пути, будь то даже кусок самой жирной говядины. Но когда она вскочила на ящик и заглянула в уютный полумрак его, чтобы улечься там поудобней, — малышей своих она не нашла.

IV

Подстрекаемая холодным ужасом она выскочила из ящика и принялась обнюхивать всю квартиру, все щели, все темные места, промежутки между шкафами и полом, залезала под диваны, этажерки, умывальники — с тайной надеждой если не отыскать малышей, то по крайней мере среди запахов пыли и сырости ощутить их кислый запах, а затем услышать их беспомощный писк, при мысли о котором у нее чесалось в горле. Фыркая и визжа от нетерпения, она носилась из одной комнаты в другую, снова забегала на кухню, испускала протяжный, жалобный лай — и опять заползала под диваны и кресла, истекая неутешным страданьем.

Малышей не было нигде и даже не чувствовалось их следов.

Едва переводя дыханье, дрожащая и злая вернулась она на кухню, пластом растянулась на полу и, положив морду на исхудалые лапы, принялась соображать. Это длилось минуты три. И так как ни память, ни логика ничего ей не подсказали, она заскулила и бешено завертелась по полу, точно укушенная тарантулом.

Вдруг снова вскочила и, насторожив уши, бросилась еще раз внюхиваться в следы. Движенье воздуха донесло до нее знакомый запах. Превозмогая страданье, она решительно подавила в себе отчаянье, мешавшее ей быть умной и догадливой собакой, и стала прислушиваться к голосу никогда не обманывавшего ее чутья. Неподвижно замерев на месте, с вытянутой вперед мордой, она непререкаемо почувствовала, что из пределов кухни малыши не удалялись. Это означало, что они были где-то здесь, близко, не больше, как в пяти или шести собачьих прыжках.

Неукротимо затрепыхалось ее сердце, и тело покрылось мелкой ничем не остановимой дрожью. Должно быть от волнения заиграла и фантазия у Лайки, и ей почудилось, что следы ожили, потеплели и излучают сильные запахи. Она торопливо поползла за ними на брюхе, тихо взвизгивая от нетерпеливой радости, но очень скоро убедилась, что обоняние обмануло ее. Полузакрыв глаза, Лайка погрузилась в воспоминания, чтобы представить себе, как выглядят ее малыши. Припоминались их хмурые, сонные мордочки, влажные глаза и неуклюжие лапки, подворачивающиеся при ходьбе. При мысли об этой подробности ее охватила слабость, и через холодный вздрагивающий нос Лайки перекатилась острая материнская слеза. Так она лежала,

уставшая, апатичная и подавленная горем, до той минуты, когда в дверях загремел ключ и показалась хозяйка с мешком сосновых шишек для самовара.

Лайка встрепенулась и, обнюхав на всякий случай мешок, с пронзительным лаем приветливо бросилась на хозяйку, как бы говоря:

— Ты... ты... только ты можешь утешить меня: скажи, где мои дети?

Хозяйка деловито отвела ее лапки от подола своей темносиней юбки и прошла к себе. Лайка, испустив краткий вздох, безнадежно поникла головой, но сейчас же подняла ее, чтобы получше разглядеть лицо хозяйки: ей показалось, что она заметила виноватую улыбку, точь в точь такую, какая выдавливалась у нее самой, когда она без спросу с'едала что-нибудь, оставленное в кастрюле или на тарелке. Но хозяйка захлопнула за собой дверь, и Лайке больше ничего не удалось заметить.

От горя и тоски у нее пересохло в горле. Ей захотелось пить. Она вскочила в раковину от водопровода и, когда жадно лакала падавшие из крана капли, внезапно ощутила тот самый запах, по следам которого она пыталась отыскать своих малышей. А всмотревшись в дно раковины, она заметила несколько шерстинок, при виде которых ее собственная шерсть взъерошилась и поднялась, как щетина в щетке.

Лайкино волнение вышло из пределов всего ее существа. Она рычала, лаяла и выла, устремив свои полузакрытые глаза в ту сторону, где находились хотя и низвергнутые, но все же боги, обычно внимавшие ей. Но боги не откликнулись. Тогда она выпрыгнула из раковины и стала барахтаться по

полу, словно об'елась толченым стеклом, снова завыла, завизжала и в ожесточении грызла ножки от табуретов и столов. И так как боги все еще не внимали, Лайка заскребла дверь и залилась звонким переливчатым лаем, точно пришел кто-то чужой. Это была хитрость, потому что хозяйка действительно открыла дверь и тревожно осмотрела кухню.

Этого и надо было Лайке. Она прыгнула в столовую и, забежав на балкон, где в креслах полулежал хмурый хозяин, пытливо посмотрела на него скорбным молитвенным взглядом. Ее приподнятые брови, судорожно изгибавшийся рот и жалобно-просящий визг убедительно говорили:

«О великий, всемогущий и всеисцеляющий Хозяин! Хау! Хау! Я прогневала тебя кощунственной мыслью о бессилии твоего величия и дерзко решила, что ты не бог. Хау! Хау! Я поддалась этой слабости из-за невзгодливой жизни и неудобств, но другого бога я себе не избрала. О великий! Я буду покорна и вновь поверю в твое могущество, скажи только, где мои дети. Попрежнему я буду повиноваться каждому твоему взгляду и навсегда изгоню из своего сердца кощунственный против тебя бунт. Верую, что ты бог, самый настоящий, подлинный, единственный. Верни мне моих детей! Хау! Хау! Я обещаю тебе звонко лаять на всех входящих в дом и больно укушу всякого, кто затаит против тебя непочительность».

Она лизнула ему руки, потом ботинки, затем снова завизжала в припадке безукоризненной и неподдельной преданности.

Но хозяин, видно, не внял ее молитве. Он сердито топнул на Лайку ногой и поспешно отвернул лицо

в сторону. В одно мгновенье, озаренное инстинктом, она ясно почувствовала, что именно он сделал что-то с ее детьми, он, он, непременно он, подлый, жестокий, опустившийся и на все способный бог, смущенные глаза которого теперь избегают ее молящего взгляда.

С новой силой вспыхнула в ней злоба к нему, и она залаяла — грубо, возмущенно, с отвращеньем, как лаяла на противных почталионов, и вложила в свой хриплый голос всю ненависть, которую накопили в ней последние два года несытой, тревожной и неудобной жизни.

Тихими, уставшими шагами, понурив голову, Лайка поплелась на кухню и опустилась на пол, в надежде догнать ранее промелькнувшие воспоминанья о малышах. Ей так отчетливо представился их писк, их уютная теплая близость, что она даже почувствовала, как заныли кончики ее сосцов, еще только сегодня трепетавших в слабых деснах щенят.

Опять потянуло знакомым запахом. Снова дрожали, ширились и настораживались ее ноздри. И снова Лайка стала искать своих непостижимо исчезнувших детей, истекая страданьем.

У кухонного шкафчика ее внимание остановил запах мяса. Он остро напомнил ей о желудочной тоске, теперь заглушенной горем. Вдобавок это был такой редкий, волнующий запах, что она оказалась не в силах противостоять ему и приложила морду к узкой щели между дверцами шкафика, чтобы втянуть в себя несколько вкусных ароматных глотков, но вместе с обильной слюной она ощутила непонятный, таинственный ужас. Это повидимому было какое-то особенное мясо, какого она никогда не

ела, — кисловато сладкое, нежное и пахнувшее молоком. Быстро-быстро заскребла она лапками в дверцы шкафа, случайно надавила одну из них, и тогда вторая открылась сама собой. Лайка сунула морду внутрь и наткнулась на нечищенную мясорубку, в решетке которой застряли какие-то скользкие белые лоскутки. Она лизнула один из таких лоскутков — и сразу же, без всяких колебаний постигла все то страшное и непоправимое, что произошло в ее отсутствие, тут же припомнив, с какой плотоядной улыбкой хозяин ловил воробьев.

Зарычав от злобы, она бросилась на балкон, где в вечерних сумерках все еще продолжал нежиться ее хозяин, подлый, отвратительный и гнусный, что было силы хватила его зубами за ногу и бешено рванула в сторону захваченный вместе с брюками кусок его мерзкого тела.

Гнусный бог дико закричал и в ярости ударил Лайку ногой по хребту. Что-то хрустнуло и оборвалось. Лайка тихо взвизгнула, опустилась и немощно отползла подальше от подлого бога, чтобы покорно отдать себя в руки смерти, которая только одна могла освободить ее от неутешных страданий матери и еще от тоски ни во что больше не верившего существа.

В. Ирецкий

СПБ. 1919 г.

АЗОР

Лай молодого Азора был беспечален, игрив и звонок. Весной приходил цырульник и превращал его в гривастого игрушечного льва. Пудель становился неузнаваем. Его хвостатые друзья, едва врывался он во двор, с тревожным урчаньем бросались в стороны, шерсть на их хребтах топорщилась, и чесались зубы. Но спустя мгновение псы кидались к нему, он подобострастно перевертывался вверх брюхом, виновато улыбался легким оскалом зубов и глазами, и пред'являя для дружеского осмотра все, что мог. По удостоверении личности, оконфуженные собаки принимались носиться возле пуделя, с разбегу припадать на передние лапы, вскакивать, кувыркаться, но весь строй их движений: и поджатые уши, и притворное тяфканье в сторону, и вертучие хвосты, а главное — глаза, изобличали одно:

«Ну, и как же мы все, братцы, одурачены».

Барыня Курташева, состоятельная вдова чиновника, помещалась в пятом этаже. Азор имел свою маленькую комнату, рядом со спальней Мити. По субботам Азора купали в особой собачьей ванне. После сытного обеда он, с распертым животом, лежал на боку, весь в мыльной пене и благодушно похрюкивал. Ловкие руки горничной Маши делали свое дело, а высший надзор за собачьим туалетом блюла сама барыня — маленькая старушка в очках и с буклями.

Митя, одиннадцатилетний сорванец, этим пользовался во всю: подставлял к буфету стул и об'едался вареньем, черпая его из банки большой ложкой, или прямо горстью, смотря по обстоятельствам. Голова его круглая, черноволосая, глаза с прищуром, ноги длинные, худые, и вечно стоптанные каблуки. Рубаха грязная, штаны рваные.

Он не долго горевал о без вести пропавшем брате, офицере. Зато мать не осушала слез, и только пудель мог разогнать ее печаль. Такой забавный, умный, ну, просто, человек. И глаза у него были человечьи: грустные, многодушные. Если долго смотреть в них — жутко: будто знали о том, что должно случиться, знали, но не умели сказать.

Он мастер был служить на задних лапах. Митя надевал на его кудластую с бакенбардами голову свою гимназическую папаху, в зубы совал хлыст, Азор серьезно поводил глазами, белки сверкали, как у негра, махал передними лапами и, пуская слюну, ждал подачки.

Чай любил пить в накладку, с молоком и булками; он важно восседал на мягком стуле, между барыней и Митей, свесив свой украшенный пушистой кистью хвост, и лакал чай с блюдечка. Выпивал и лаял по особому, чтобы налили. Собачий разговор его был определенен, прост. Однажды Митя незаметно подсыпал ему в блюдце соли. Пудель отведал, фыркнул, спрыгнул на пол и, уставившись на Митю, выругал его крепким собачьим словом. Митя засмеялся, а мать сказала:

— Опять созоровал над ним.

Обед Азор получал тоже с барского стола. Вообще жизнь его, по выражению Маши, была разлюли-малина.

На масляной неделе Азор обожрался блинами и всю ночь по-человечьи кряхтел и охал.

— Это ты что-нибудь, мерзавка, сделала! — и звонкая пощечина едва не сорвалась с гневливых пальцев барыни.

Маша забожилась и, утирая слезы, потащила пуделя на Симеоновскую, в собачий лазарет. Вечером Азору ставили клистир при живейшем участии Мити, который вдруг захохотал и поспешно вышел в кухню. Там он поймал флегматичного рыжего кота Антипку, запихал его башкой в валяный сапог и поставил клизму из ализариновых чернил. Антипка, вырвавшись, исцарапал Мите нос, со страшным урчаньем и сверкающим бешенством глазами скакнул на окно, на пол, на стол, разбил посуду, потом забился за плиту и сидел там до глубокой ночи. Митю драли.

* *

*

Пришел великий пост, а с ним и революция. Суетня на улицах, грохот ружейных залпов произвели на пуделя впечатление потрясающее. Он боялся показаться за ворота, весь дрожал, во сне бредил, дрыгал ногами и, вскочив, рычал на тьму ночи. Он угадывал собачьим нутром своим, что произошло нечто особое, что воздух и все кругом стало иное. Все это передалось собаке стихийно, как морская буря глубоко-водной рыбе.

Барыня в эти дни зажигала лампадку и две тонкие свечи перед образами, зажигала и кланялась, что-то шепча и плача. Маша тоже кланялась, только не плакала, а все озиралась на окна, за которыми гремели выстрелы. Азор, опустив хвост, понуро ходил из комнаты в комнату. Он чувствовал голод.

На плите бурлят кастрюли. Что же ждут? Но вот раздались резкие оглушительные выстрелы где-то совсем близко, может быть, с крыши их дома: Женщины вскрикнули, метнулись прочь от распахнувшейся фортки. Пудель забыл про голод, забыл про то, что его забыли покормить и сами забыли обедать. Он нырнул под диван и заворчал.

— Пушка...

— Бомба...

Они заложили окно подушками, подставили к окну стол, на стол — большой сундук.

Стук в дверь, крик, каблуки в пол, вошло много людей, одинаковых, громких, злых, одинаковых, с ружьями.

С ружьями.

Азор знает названье многих вещей. На стене висело ружье того, который давно пропал, ушел с чемоданом, давно-давно.

Люди начали все враз говорить, кричать, тыкать руками, показывать на ружье и окна. Барыня тихо возражала. Азор не слушал. Азор сверкал из-под дивана белками глаз, угадывал лица вошедших, искал в сердце и памяти выраженья подобных лиц, и шерсть на его хребте топорщилась.

Кричали:

— От вас выстрелы. Вот ружье!

— Это ружье сына. Он на войне...

— Врете! Товарищи, обыскать! Почему заделано окно?

— Мы боимся стрельбы.

— Врете! Обыскать! — и — в комнаты.

Звериное выбросило пуделя из-под дивана, взлаял и, как львенок, весь вз'ершился: ни шагу! с'ест! И это звериное было светлым, божеским: первый

раз в жизни, не мудрствуя и не щадя себя, он ринулся на защиту человека.

Чужой дразняще сунул в его нос ружье. Пудель грызмя вгрызся в сталь, пахнуло тухлым — оно стреляет — сказала собачья память.

Хохотали.

Глаза собаки налились кровью, оскал разъяренных зубов хрипел.

— Пошел ты, дьяволенок!

Сильный пинок, спиною в стул, в стену, кровь Азора вскипела ярью, два звериных прыжка, и зубы рванули сапог, одежду, осатанело тряс башкой, пена клубком из рта.

— Пристрелить!

Маша схватила его в охапку. Не признал, не видел врагов, видел — грызи! На смерть, на смерть!

— Ай! — бросила Маша пса.

— Пристрелить!

— Что вы господа! Азор! Азорка!

— А ну его к чертям!

— Товарищи, айда!

И всей гурьбой вон. Смеялись.

— Вот так дьяволенок.

— Черный...

— Контрреволюционер.

А когда стало тихо, Азор уткнулся носом в угол, чихал и фыркал, выплевывая вместе с кровью выбитые зубы. Потом забился под диван и там, крадучись, повизгивал: сердце остывало, крепла во всем теле боль.

Вечером притащился Митя и в чем был — уснул. Маша раздевала его, как мертвого, ничего не слышал. Мать опрыскала Митю святой водой, на голову

положила компресс из уксуса, к подошвам — селедки, чтоб вытянуло жар. Спал, ничего не слышал.

*   *
*

Утром Митя весело сказал:

— А мы, мамочка, вчера убили полицейского.

— Как, убили! Что ты говоришь.

— Его не убили, его с чердака выбросили. Он убился сам. А мы с мальчиками смотрели.

— Митя! Милый мой... Митя, — мать заломила руки.

— Он, мамочка, не наш, он из другой части полицейский.

— Пудель знал, что значит-полицейский, и внимательно вслушивался в разговор, но не мог связать знакомых слов и ничего не понял. Только вспомнил, как полицейский, усатый и строгий, однажды дал ему кусок колбасы и погладил, а Машу потрогал руками и стал лизать засмеявшийся Машин рот.

*   *
*

Снег таял, на небе было ярко — больно смотреть, — пудель щурился — сверху шло тепло, как от камина.

Собачья шуба стала пушистой, жарко, пудель бегал, высунув язык.

Маша пропала. Пришел кислый, капустный солдат, насорил семячками, взял сундук и увел Машу. Остались втроем. Азор долго искал Машу: надо его стричь, надо мыть, надо чесать спину — некому. Азор избегал все базары, весь город, облаивал трамваи, автомобили, призывно выл на углах — нету. Азор выл на мосту, глаза плакали, и плакал голос. Маша пропала. А был в этот день праздник. И

следующие дни были — праздники. Все зеленело кругом. Откуда-то взялись, должно быть, оттаяли, заносились в воздухе птицы, заворчали-забранились деревья в ветер, и в небе горело.

Праздники все шли, не переставая, народ ничего не делал, народ табунился по углам, на площадях и где деревья, где скамейки, где пудель так любил гулять с Машей и барыней. Пудель принюхивался, прислушивался, всматривался в лица. Маша пропала.

Потерянный и жалкий, в чертополохе, оплеванный семячками, прибегал Азор домой, тщетно ждал: вот посадят его за стол, дадут котлет и чаю. Но теперь кормили его раз в сутки из грязного черепка каким-то незнакомым мясом, которое пахло не по настоящему, а барыня сердито говорила:

— Жри.

Азор терпел, память теряла прошлое, лишь сны напоминали былую жизнь.

Барыня становилась скучной, злой. Иногда барыня плакала, просто так, сидела под окном и плакала. А там по улицам шел народ с красным, с трубами, трубы трубили. Барыня захлопывала тогда окно и — прочь. Иногда доставала из стола исписанные бумажки, подолгу смотрела в них — одна, две, три, много — смотрела и плакала. Азор недоуменно наблюдал ее и вертел головой вправо-влево.

Митя стал веселый, пел песни, сделал барабан, к палке привязал красный платок, учил Азора бить в барабан лапой, кричать «ура», а сахаром не кормил. Азор не хотел зря, из пустяков, учиться.

Митя пел громко, лихо, как на улицах, гикал, присвистывал и носился по комнатам, а за ним с веселым лаем пудель.

Барыня ругалась, выталкивала Митю за дверь:

— Не сметь, уличный мальчишка! Не сметь!

А он ей:

— Буржуйка! — да и был таков.

Много раз на праздниках Азор слышал это слово. Праздники продолжались. Народ ничего не делал, кричал, разговаривал, лаялся, орал, грыз семячки, народ был праздный.

— Буржуй, буржуй, буржуй, — так и сыпалось в уши, в спину, в хвост. Азор запомнил.

Жарко, очень жарко. Почему нейдет человек, у которого ножницы. Азор, повизгивая, чесался и выгрызал из лохматого хвоста чертополох.

Ребята играли в рабочих и в полицию. Азор был то рабочим, то полицейским, его переманивали кусками хлеба. Мите разбили нос, потому что Митя был приставом. Он заплакал и ушел умываться. Барыня схватила ремень и вытянула Митю по спине пряжкой.

* *
*

За песни, за веселость и, должно быть, еще потому, что пустовало без Маши собачье сердце, Азор привязался к Мите. Жили два друга — водой не разольешь. Митя делился с Азором последним.

Жирнущий кот Антипка отощал: мяса нет, все на замке, даже и не сблудишь. Безголосо мяукал.

Пошли дожди, а там и холод. Холод разогнал народ, праздники кончились, перекрестки и площади умолкли.

Повалил снег, стаял. А тут...

Всю ночь пропутался Азор вместе с Митей. Путался, рыскал по улицам народ, одинаковый и разный, больше одинаковый, с ружьями. Ружья стреляли тихо, громко, близко, далеко. И еще так грохало, как летом с неба: тряслась земля.

Бежали с Митей по мосту, по улицам, по площади. В большом доме при реке огни то гасли, то зажигались. Трещало кругом и бухало, — ура-ура, — выли, рявкали, стонали — ура-ура!

— Куда ты, постреленыш, прешься? Убьют!

Митя помчался прочь, Азор за ним.

Барыня стояла в кухне на окне, она прильнула ухом к открытой фортке и крестилась.

Там, за окном, в эту глухую осеннюю хмурь свершалось нечто большое и важное. Азору ли понять это собачьим своим нюхом? Нет. Не поймет и Курташова-барыня, по горло ввинченная в гущу старины. Лишь Митя, может быть, безоглядно поймет и уверует.

* *
*

С ветром, с завываньем, с вьюгой пришла зима, а вместе с нею — голод. Жратво Азору было сокращено до-нельзя: искал пропитанье на стороне. Он бежал по памяти в одну, другую, третью булочную, но двери там были заколочены, окна обклеены газетами, а главное — не было приманчивого запаха, как ни старался внюхиваться пудель.

У мелочной лавки, помещавшейся в их доме, длинно завертывая за угол, стояли люди; они в руках держали бумажки и ругались. Из лавки выходили с хлебом, отщипывали кусочки, клали в рот, ругались, или сердито совали в протянутую нищенскую руку.

Азор сел возле двух стариков-попрошаек, уставился взглядом в дверь и распустил слюни. Глаза его просили, поджарые бока дышали тяжело, и ноги тряслись от нетерпения. Мальчик бросил ему кусок, но старик хватил собаку костылем и сгреб кусок себе.

— Зачем бьешь! Иди в богадельню, лодырь!

— Собака не виновата. Она с красным флагом не ходила.

Азор понял, что люди сочувствуют ему. Он стыдливо закрутил хвостом. Кто-то бросил ему корку. Он покосился на костыль и с'ел. С тех пор он ежедневно караулил вход, иногда забирался на тумбу и там служил, просительно взмахивал лапами, умудряясь ловить подачку прямо ртом. Но вот бурый, лохматый псина дал ему такую трепку, что Азор с прокушенной лапой, весь вывалянный в грязноснежном киселе, ходить сюда — баста. Лохматый псина до конца дней победно укрепился здесь.

Тогда Азор, спасая жизнь, облюбовал в своем квартале три милосердных окна с фортками. Чем свет усаживался он напротив и лаял, лаял, лаял, все повышая голос, все сильнее раздражаясь и моля. Рука выбрасывала об'едки. Пожирал и шел к другому. И так каждый день. Но вот докучливый лай его до кошмара надоел всему кварталу. Однажды милосердное окно отворилось как-то по сердитому, и прямо в морду, в глаза плеснулся кипяток. С бешеным визгом Азор долго крутился на месте и кой-как — домой. Он недоумевал, но сердце его ожесточалось. Надолго закрылся правый глаз.

Увидя его, Митя пожалел, а барыня:

— Выгнать! Самим есть нечего. Грязный, скверный. Фи!

Действительно, лохмы на Азоре свалялись в комки, обледенели, и когда Азор бежал, или отряхался, они гремели, как кастаньеты.

Барыня постепенно впадала в нищету, ее обобрали, от тягостных воспоминаний, от злобы она желтела, и начала трястись голова ее. Митя переживал события отлично. Он стал торговать папиросами, ел на улице пирожки и кашу, но с матерью делился редко.

Кот Антипка бродил, как тень, не мяукал. Мыши потешались над ним.

*   *
*

Лишь поджил глаз, Азор отыскал новый источник жизни. Он стал бегать на помойку общественной столовой и там небрезгливо под'едал отбросы. На эту же помойку сходилась чахлая детвора с мешечками. Один беленький, белобровый признал собаку:

— Озой, — по детски пролепетал он, — Озой...

Собака вильнула хвостом и поцеловала малыша в губы. Малыш был сын прачки, звали его — Вася. Вот две недели лежит в кровати его мать, больная. Отца убили на войне. Кому какое горе. Вася нашел голову селедки и радостно — в мешок. В мешке много гнилой картошки. Азор стрательно работает лапами, из ямы удушливая вонь. Еще голова, еще сельдяжий хвост. Вася рад. Будет славный суп. Пусть Азор приходит к ним в гости. Вот только набрать бы чурочек. Он наберет, дяденька даст ему, позволит: там ломают дом. Тогда мать встанет, затопит очажок.

— Это у нас живет. это Озой, сюсюкает он, оглаживая собаку.

Детвора приветно улыбалась псу, кто-то кинул даже корку хлеба. Это детвора чахлая, одряхлевшая, она папиросами не торговала и не ела пирожков, эта детвора катилась в ничто, к могиле.

*   *
*

Азор голодал. А наевшись тухлой дряни, стонал, как человек: тошнило, ножами резало живот. С нетерпеливым визжаньем он подбегал ночью к Мите. Тот нехотя выпускал его на лестницу. Но дверь во двор крепко закрыта. Азор пачкал площадки на парадной кровавым поносом. Дворник злобился, грозил передушить в доме всех собак. Домкомбед строгое вывесил об'явление.

Азор боялся отлучаться далеко от дома: собачьи зубы грезились ему во сне. А Митя торчал тут же, на углу или после хороших барышей заходил с компанией в кафе, пересчитывая деньги, пил чай с сахарными трубочками, с лепешками, курил.

Голод бросил, наконец, Азора на рынок. Весело: крик, галдеж и так вкусно пахнет. Азор сновал туда-сюда. Вдруг свистки. Все бросились бежать, схватывая товары. Азор веселым скоком с ними: надо быть — игра. Опять сбирались, сгруживались возле своих мест.

В углу, под светлой иконой орудовал бородач. Его называли: «при топоре сидящий». К нему подходили барыни и что попроще, подавали куски мяса. При топоре сидящий разрубал мясо на части, получал деньги. Азор, примостившись тут из милости, ловил брызг и осколки костей. Но это только дразнило,

раздражало: глаза то наливались кровью и блестели — все бы с'ел, то застилались слезами. Тогда Азор задирал вверх морду и чуть слышно выл.

* *
*

Голодные дни, недели, месяцы продолжались. Люди стали злы, драчливы, скупы.

Кот Антипка глядел-глядел, да сдох.

Азор весь высох, силы оставляли его. И вот последнее отчаяние толкнуло его на последний путь.

Однажды он встретил в переулке Васю. Вася тащил под мышкой хлеб по карточке Б и по детской. Азор загородил ему дорогу и стал юлить.

— Озой, пошол... Да Озой —

Азор юлил, крутился, умолял: хлеба — корку. Азор изнемогал. В его глазах что-то копилось. Вдруг вынырнули из ворот двое мальчуганов. Азор хамнул и с Васиным куском — вперед. За ним мальчишки.

— Лови! Лови!

За мальчишками народ с улиц, переулков, площадей.

— Лови, лови, хлеб, собака!

Под Азором взад неслась земля, свистело в откинутых ушах, хрипело в горле, зубы крепко впились в кусок.

— Лови, лови!

Навстречу народ, сзади народ, за ним, за ним — народ, фонари, дома, автомобили. Екнуло сердце, кусок упал, и собака, поджав хвост и уши — в переулок.

Запыхавшийся мальчишка, тот, что постарше, Петька, весь красный, потный, как из бани, едва

дыша, подобрал кусок, обтер собачьи слюни об рубаху и весь до крошки с'ел.

А Вася стоял там, далеко, на том же месте, обиженный, голодный и хныкал.

* *
*

С тех пор Азора в их доме не взлюбили. Но Азор мало дорожил теперь людским мнением, Азор спасал свою собачью жизнь и на стоявших в очередях смотрел с ненавистью.

Однажды он задержался возле старухи-нищенки, она сидела на тумбе, опухшая, и беззубо жевала хлеб. Он готов был растерзать ее, кровожадное повизгиванье сменил звериный рык, он стал скрести землю ногами, как бы соразмеряя силу. Скачок — и он вцепится старухе в глотку... Может быть, это сон... Азор часто видит во сне жующих старух. Еще он видит... как-то они поймали в лесу зверя и разорвали его, Азору досталось горячее сердце, все в крови.

Когда Азор пробуждается от вкусных снов, плачет во тьме горько и жалобно. Горько и жалобно выл он недавно лунной ночью. Было холодно, стояла осень, его не впустили во двор. Мимо плелась белая собака, она понуро опустила хвост и голову. Собака была неимоверно худа и шаталась. Азор обнюхал ее — пахло мертвечиной и чем-то таким, от чего хотелось выть, выть.

Луна стояла высоко. Белая собака голубела, поблескивали уныло умиравшие ее глаза, и еще блестела винтовка сидевшего у ворот человека.

Человек подманил белую собаку, ощупал ее и оттолкнул:

— Доска. Старая.

Подманил Азора, долго щупал брюхо, зад, бока.

— Ежели подкормить, то можно.

Азор рванулся и — к себе. Человек этот непонятный, страшный. Азор оглянулся и трусливо заворчал. Человек часто ругался с женой, даже дрались. Дети плакали. Азор это видел.

— Дура! Физиологи и то едят.

— Поди, ты — православный, а не физиолог... Уйду, уйду...

— Раз я привычный к млекопитающей пище... Подыхать мне, что ли!

Человек предпочитал есть собак жирных, тощих же до поры подкармливал тут же в клетухе. Потом жена смирилась, дети привыкли, в'елись. И когда он приходил с живым за плечами мешком, радостно кричали:

— Папа, мне головку, мне головку...

Азор об этом не знал, об этом знал Митя и не пускал туда Азора: увидит — палкой.

* *
*

Зимой пошел по Азору ранний седой волос. Он весь изжился, ноги едва таскали его, и единственная дума была: жрать. Митя сливал ему казенный суп, иногда бросал корку хлеба, утешал: вот через неделю будет лучше. Но проходили многие недели, одна темнее другой.

Азор ясно учуял, что ему не жить. Глаза его стали пусты, сердце пусто, ноющая тревога день и ночь грызла его. Азор искал конца.

С последним отчаяньем он бросился однажды ночью к Неве и мчался, не переводя дух, точно его

гнали бичами. Надо что-то сделать, надо растерзать себя, надо... Азор не знал, как найти конец. На мосту выл смертельно. Падал мокрый снег. Мутнели где-то тусклые огни.

— Не взбесился ли, дьявол, — сказал сам себе милиционер и было хотел пристрелить его.

На обратном пути, едва волоча чужие ноги, Азор встретил в снегу что-то черное. Шапка. Азор знает название вещей.

Нюхнул, зубы сами собой железом впились в овчину, рванули и, кусок за куском, шапку в пустой живот. Глаза его были пьяны. Азор рычал и шатался.

* *
*

Утром Митя радостно встретил его. Азор молча залез под холодный покрытый инеем диван. А ночью выбегал и пакостил на парадной кровью.

Домкомбед постановил: Азора отравить, дворнику увеличить жалованье, гражданку Курташову оштрафовать. Митя, узнав, всю ночь не спал.

Утром лестница задрожала диким криком. Кричала жилица из сорок пятого, а возле нее, вверх лапками, валялись на грязнейших ступеньках две любимые ее таксы.

— Отравили! Отравили!

— Подброшено тому черту-то, Азору, — оправдывался дворник.

— Почему же вы сегодня не на цепочке их?

Ее муж, райлескомец, бородатый, желтый, кожаный, позвонил в милицию. И через четверть часа грохочущие каблуки утащили Азора на расправу.

Вслед за ним пошел и райлескомец. Валили густые хлопья снега.

Азор дрожмя дрожал, и в каморке, куда его бросили, он юркнул в угол, весь онемел и покорился. У стола сидел человек, писал.

— Вы его должны убить при мне... Это безобразие... Зто... — шипел и брызгал райлескомец.

Человек оторвался от бумаги, посмотрел на собаку. Азор весь вжался в стену, стал маленький, как мышь.

Человек взял в руки револьвер. Азор поймал его взгляд — ага! — и разом понял все. Мигом вз'ярилась жизнь. Два бешеных прыжка, хриплый лающий рев, крик, сапоги, раз-раз!... Сапоги, дверь, снег, раз.

— Бешеный! Добивай!

— Раз!...

— Готов.

Азор взревел, перекувылплся, вскочил и, мотая головой, побежал к дому.

Кругом красное, черное, красное, черное, ничего нет кругом.

Поднялся по лестнице, к своей квартире, обливаясь кровью. Последнюю ступеньку едва осилил, с умирающим кряхтеньем подполз к своей двери и подох.

1921/VI
Петербург

Вяч. Шишков

НАХОДКА

Наступают теплые дни —

и весь Петербург звенит.

Цепляющийся зубильный звон, назойливый и точащий — железа о камень — звук стройки. И не найти уголка, нет такого дома — идешь по Невскому и на Васильевском, и на Песках, и где-нибудь у Покрова — звенит.

Вечером в раскрытое окно каменный дых и парь домов и застоялая копоть труб, как глухая стена, и один — дышет один этот звук, точа — звенит.

Наступают теплые дни —

вот и белый май,
белая ночь,
цвет двух алых зорь

Много лет, как заглох, не звенит.

И дети не играют в любимую игру — уцелевшие кое-где леса начатых построек растащены: печурошная железная саранча прожорливая за зиму подобрала все деревянные дома и доски.

Маленькие — те еще в песке строят свои волшебные песошные города.

Дым фабричных труб — невидаль, как стройка.

Рассеялись петербургские желтые туманы.

Вечер свеж и прозрачен — какие звезды! — и уличная тишина пустынна.

Находка — собака звонкая: ошейник на ней не простой, с бубенчиком.

И в вечерний освежительный час с высоты шестиэтажной видеть ее никак не увидишь, а слышно: звенит.

И по утру, когда колодезные жильцы спускаются во второй двор с чистым ведром в прачешную за водой, с поганым к помойке, и сквозь ведерный звон звенит.

Только днем не звенит.

Илья Иванович Яичкин, хозяин Находки, заведующий, и днем ему дома не сидка: дело его хлебное — в лавке.

А Находка при нем неразлучно.

Заглянешь в Управу к Девятке — сидит Девятка с Попкиным, дела решают, — нарòды, телефон, содòм, — и вдруг через всякий звон звенит.

А это и значит, что где-то тут в какой из комнат Яичкин за хлебным нарядом.

Тоже и в лавке, стоишь в хвосте — молчим или точит зубильная жаль — и вот под стук ножа и гирь зазвенит, и все очень понимают, что это сам Яичкин Илья Иванович.

Так и в Совдепе, ищешь ли комнату — за билетиком в очередь за дровами стать, или перегоняешься из комнаты в комнату за подписями и печатью, или просто тупорылой скотиной ждешь на авось, и опять зазвенит: Яичкин и здесь.

В 8-ь запирают ворота — была и такая крутая пора — и уж ни ты, ни к тебе никому, и телефон, пылясь, мертво молчит, раскроешь окно — там, глядишь, Галушин председатель примостился у окна — вечер теплый — газеты: какой-нибудь 13-ый год;

а против в окне уполномоченный Кузин ведомость составляет: списки жильцов —

— прошел я Россию, сколько тюрем, острогов не миновал секретной, самой тесной, как мышеловка, сидел и в башнях — за какими ключами, затворами! — но такой каторжной тишины и гробового спокойствия не запомню.

И вдруг звук, как шарик, рассыплется — мелкие шарики,

каждый шарик в орешек — стук орешек! —
орешек в горошину — лоп горошина! —
горох на крупники — сей, лей, вей! —

все завьется, заструнится, — звенит —

Мне-то не видно, но вижу, как Галушин и Кузин кивают: Илья Иванович Яичкин возвращается с работы — ему по его хлебному делу, как днем, так и ночью ход не заказан.

* *
*

Жаловался Яичкин на арифметику: мудрà — не тверд.

Взялся за него Кузин, и одолел ее Яичкин да так, что ни на какую стать.

С этого все и пошло.

И «Вагоновожатый» — Елена Ивановна, у которой матросы живут, жилистая и рассудительная, именно на арифметику все и доказывала и от арифметики выводила всю Находкину бедовую историю.

А историю эту собачью скоро все знали, где бубенчик звенел.

А бубенчик звенел — все знали — от Управы и до лавки и от лавки до Совдепа и от Совдепа до

Участкового бюро и от бюро до комендатуры и от комендатуры до клуба, а от клуба по улице вдоль —

И даже Женя Кузин, который

— маленечко по нотам поет —

и носит при себе, как трудовую книжку, пастуший билет: пастушить ребятишек — выдал я ему еще по весне с обезьяньей печатью! — и Женя может ее рассказать и со всеми подробностями и чудесами.

* *

*

Илья Иванович уехал в командировку.

И узнали это не потому, что бы Яичкин ходил и об'являл по всем семидесяти пяти квартирам с низу и до верху, а потому, что звон бубенчика замолк.

В последний вечер звякнул — —

Я долго не спал — читать не видно, так сидел, — в белой ночи по бледному небу расцветали зеленью белые звезды — камушки изумрудные, и, не иглй, лились лепестками.

Долго трудился Илья Иванович над чемоданом, укладывался, потом — я ничего тогда не мог понять — разрезал хлеб, целую форму, взвесил каждый кусок и стал раскладывать по полу рядком, а потом, держа за ошейник Находку, тыкал ее носом в каждый кусок и что-то приговаривал, уча, и так раз десять на каждом куске.

Находка становилась на задние лапки, служила, смотрела — —

Илья Иванович собрал крошки, запер шкап, присел к столу, подумал — вдруг встал и, в чем-то убеждая Находку, сторого погрозил.

Тут вот в последний раз и звякнул бубенчик.

*   *
*

Дом наш — колодезь, мешок каменный, и из всех домов, мешков таких же, самый есть тихий.

И ничего то у нас не случается.

Как-то однажды около полночи, когда все семьдесят пять квартир на сон ладились, распахнулось окно над Кузиным и барышня Рыбакова сдавленно ухнула:

«Душат!»

Решили, пожар: и всякий, в чем застало, опрометью к прачешной воды набрать, чтобы тушить.

Конечно, вода никогда не мешает, но дело тут не в пожаре и вода не причем.

Давно подмечал старик Рыбаков, что хлеб пропадает, а жила у них прислуга, вот он и вышел перед сном на кухню и что-то тут случилось —

или это белые зазеленевшие звезды?

стал он, видно, шарить Пашу, хлеб искал. А рыбаковская Паша, всякий знает, одна на шестой этаж бревно стащит, Паша-то старика и ущемила, дочь испугалась и всполыхнула:

«Душат!»

Что еще?

Вронская, бывшая актриса, всякий вечер обходила по одной лестнице квартиры вверх и вниз и у всех допытывала, не пользуется ли кто уборной.

Начинались долгие споры — неизвестно отчего Вронскую заливало — в споре до слез доходило:

Вронская старалась доказать, что именно пользуются, и так настаивала и так убеждала, что можно было подумать, есть и в таком текучем предмете признаки такие, по которым сразу отличишь жильца от жильца.

Больше, кажется, ничего.

И вот — завыла собака.

Как ночь, так вой.

Не поверили, всякий сказал, косясь:

— Это там, не у нас.

А что ночь, то вой заливней.

И поверили:

— Не к добру: у нас.

Где, что, почему?

В доме собак нет, Находка?

Пятый день, как Яичкин уехал, а Находка при нем — неотлучна. А кроме того, никто и никогда не слышал, чтобы выла Находка, да она и не лаяла, она только звенела, а, может, и залаяла б где на солнышке, но в каменном-то мешке за такой оградой — —

Затаились — уши одни.

И каждое окно, как ухо.

— Это у Яичкина! — первым догадался Кузин и, высунувшись, крикнул председателю.

Галушин, не замедля, откликнулся, точно и ждал того:

— Конечно, у Яичкина.

— У Яичкина! — отстенилось в колодце.

Тут уши опали.

И окна сразу закрылись.

Белые белее ночи заметались за окнами.

— К Яичкину забрались воры: чистят.

По лестнице воздушно в белой ночи: впереди председатель, за председателем уполномоченный, за уполномоченным два члена, за членами сотрудники, — и все были по ночному на-легке, и только форменные кантовые фуражки бывших ведомств с серебряными подковками и лепестками значили, что не лунатики, а домовое начальство и в полном составе.

Я слышал звонкий голос Кузина, немилосердный стук.

И на минуту все замолкло — сиплая надсадка — и, как конец, на весь колодезь треск.

У Яичника в покинутой квартире замелькал огонек и тотчас, как огонек, зазвенел бубенчик.

Ни воров, ничего —
одна единственная Находка.

Полно̀чи только и было разговору.

— Уехать и запереть собаку.

— И как она еще не сдохла.

— Человеку вытерпеть трудно, а собаке и подавно: завоешь!

— Ей камушек показали, так она как кубарик —

— Залаяла, ей Богу, сам слышал.

— Не предупредить, вот чудак.

— И сколько этого г.... ща, весь пол.

— Да чего ей жрать-то было?

— Нашла себе чего: чай, заведующий!

— Да ведь все на запоре, не такой.

И под все суды-ряды и пересуды одиноко одинокий звенел бубенчик.

* *
*

На другой день вернулся Янчкин.

Янчкин вернулся раньше срока.

Не хотел верить: ведь он же оставил Находке ровно десять фунтов хлеба, десять равных кусков хлеба, ровно по фунту на день.

— Да столько и гражданское население не получает, — оправдывался Янчкин.

А после всяких споров, когда весь колодезь затих, я видел, как выговаривал он Находке, укоряя ее, должно быть, что все десять фунтов сожрала зараз, а не по фунту, как полагалось, потом, спохватившись, бросился собирать с пола все собачье, наклал до верху скороходскую коробку из-под штиблет и поставил на весы.

Весы показали 20-ть.

И уж чего ни делал — и тряс и дул — стрелка оставалась неколебимо: 20! — 20 фунтов.

— Откуда?

Янчкин отказывался что-нибудь понять:

— 10 — — 20.

Это было сверх всякого учета и не поддавалось никакой регистрации.

Находка стояла на задних лапках, служила, смотрела.

1921 г.
Петербург

Алексей Ремизов

ОГЛАВЛЕНИЕ



Напечатано и издано
Издательством
«СЛОВО», Берлин

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PG 3505 L5S6 Sobach'ia dolia